

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

На свои первые, еще не заработанные, а полученные в подарок ко дню рождения деньги, я купил книжку – ею оказался сборник повестей и рассказов кабардинского писателя Хачима Теунова.

В четырнадцать лет купил первую поэтическую книжку – ею, до сих пор храню, стала «Нежность» Евгения Евтушенко, тут же заученная наизусть.

В шестнадцать – первую литературно-критическую, как помнится, про современную поэму, и годы прошли, прежде чем я подружился с автором этой книжки (а вернее, брошюры) Геннадием Красухиным.

Таким образом – если учесть, что лет с двенадцати я в районной библиотеке прилежно конспектировал черные тома «Большой советской энциклопедии», выбирая те статьи, что про литературу, – участь моя была решена.

Конечно, литература. Конечно, русская. И – в ней – критика. Критика поэзии, по преимуществу. Хачим Теунов при этом, понятное дело, как-то провисает, свидетельствуя скорее о том, что рядовому необученному покупателю могло предложить местное сельпо, но тем не менее...

Я до сих пор уверен, что перечень первых самостоятельно добытых книг не меньше говорит о литераторе, чем перечень книг, им самим впоследствии написанных.

У меня, во всяком случае, так. И, взяв исповедальную ноту, тут же признаюсь, что участи на жизнь не хватило.

Стихи до сих помню километрами – но, как правило, те, что вошли в сознание лет до тридцати, и в этом смысле межировская фраза «До тридцати поэтом быть почетно...» имеет отношение, видимо, не только к производителям, но и к читателям стихов. Всё, что прочел потом, могу оценить, принять, но... без прежней уже воспламененности и прежних сосредоточенных поисков избирательного сродства, так что не прочтенный вовремя Георгий Иванов так и не потеснил во мне Владислава Ходасевича, а написанное Юнной Мориц или Андреем Вознесенским в последние десятилетия не отменило сладостных воспоминаний о том, как читались, немедленно врезаясь в память, «Лоза» и «Дубовый лист виолончельный». Так что о поэзии я сейчас почти не пишу. И читаю, чтобы для души, из современных, появившихся (для меня) в последние двадцать лет поэтов, очень уж немногое – разумеется, Геннадия Русакова, конечно, Кибирова и Гандлевского, естественно, Льва Лосева, Елену Фанайлову, может быть, еще трех-четырёх, вряд ли больше, поэтов.

То же и с критикой. Когда-то занятия ею принимались мною как в точности под меня «заточенные», и изумление вызывали старшие товарищи из тех, что, потрудившись-потрудившись над рецензиями, обзорами, полемическими заметками, потихонечку перекочевывали в литературоведение, в преподавание, в редактуру, к иному делу.

Теперь не изумляют. Сам такой, сам перешел к редактуре, а чуть позже еще и к иному делу, уже словарному.

С редактурой, впрочем, оно само собою как-то получилось. Придя еще в 1989 году в редакцию журнала «Знамя», я довольно быстро понял, что редакторские обязанности налагают слишком сильные ограничения на свободное изъяснение литературно-критических мнений. Хвалить то, что сам отправил в набор, мне неловко. Бранить то, что сам же и «зарубил», неэтично. Одобрять

то, что напечатали конкуренты, с какой бы это стати?.. А порицать – тоже вроде бы поперек корпоративной морали.

Что делать, если осталась привычка водить перышком по бумаге?

Уходить к Баратынскому и Мерзлякову?

Может, и ушел бы, кабы утрата привычной профессии произошла не в девяностые годы, когда всё в русской литературе перевернулось и еще даже не начинало укладываться по-новому. И когда из моих коллег мало кто понимал, с чем мы имеем дело, кто что пишет и почему замолчал (уехал, занялся бизнесом, умер?..), какие издания по-прежнему выходят или почили в бозе. Прежние источники информации перестали эту самую информацию источать, писательские союзы – ну и слава богу! – рассыпались в прах, и о том, что происходит в литературной Пензе, все мы так же не знали, как и о том, что происходит в русском Мюнхене.

Вот я – сначала исключительно для редакторских надобностей – и стал делать свои библиографические записи и выписки. Сперва в блокнотах, потом на обороте каталожных карточек и наконец – спасибо техническому прогрессу – в компьютере. Постепенно выяснилось, что я тем самым инвентаризирую современную русскую литературу, собираю ее имена, как Владимир Иванович Даль некогда собирал слова для живого великорусского. И постепенно же стало нарастать некоторое раздражение по отношению к попутной мне критике.

Прежде всего потому, что критики – говорю сейчас статусных, отвечающих за свои оценки и создающих свой образ литературы, – имеют дело в самом лучшем случае с десятками имен. Частью они у каждого критика – свои (например, Владимир Рецептер у Станислава Рассадина, Марина Вишневецкая у Андрея Немзера), но большей частью переkreшиваются, совпадают, и выходит, что на авансцене, освещенной критикой, действуют всего несколько десятков, ну от силы сотня писателей. Тогда как книжки пишут и издают тысячи, десятки тысяч авторов, и остается тайной, все ли из них графоманы и действительно ли не надо следить за «Сибирскими огнями», «Аполлинарием» и «Новым Берегом», действительно ли не надо читать, скажем, романы в стихах Алексея Бердникова, стихи Юрия Каплана или прозу Бориса Фалькова. Никто ведь из – повторяю, именитых, создающих свой образ литературы – критиков об этих авторах словечка не проронил и, подозреваю, в их книги не заглядывал.

Отчасти, разумеется, из лени или – скажу корректнее – из экономии усилий: всех не переберешь. Отчасти из стадного чувства, знакомого даже сильным умам: если все вокруг пишут о Пелевине и Проханове, то как же и самому не заглянуть, самому не отметиться?.. Но есть тут и мировоззренческая подоплека – взгляд на литературу как на поприще для заведомо немногих, избранных, когда ко всем остальным можно относиться (и относятся), как к гумусу.

Мне такой – назовем его аристократическим – подход никогда не был близок. Я – переберу в памяти – если и писал когда о писателях былого, то не о Достоевском, например, а о Боборыкине, Николае Успенском, Куприне или Владе Дорошевиче, не о Блоке, а о Гумилеве или Леониде Мартынове. То есть писателях, с аристократической точки зрения, безусловно второго, а то и третьего, четвертого ряда. Уделить им внимание и, соответственно, привлечь к ним интерес мне всегда казалось важнее, чем прибавить собственное тысячепервое мнение к тысяче уже высказанных мнений о «Братьях Карамазовых» или о «Двенадцати».

Так вот, о мнениях. Тут второй пункт моего охлаждения к профессии, которой я намеревался служить всю жизнь, но так и не дослужил.

Ведь что, собственно говоря, делает критик? Читает книгу (или книги), формирует свое мнение о прочитанном и адресует это мнение всем, кому оно интересно, то есть до востребования. Чем дальше, тем чаще востребованными становятся почти исключительно такие же, как и он сам, критики, которые либо вступают с ним в полемику, либо – это теперь как правило – сополагают в параллель с его мнением свое собственное, от него отличное.

Если Майя Кучерская утверждает, что Михаил Шишкин – «мастер уровня Михаила Булгакова и Владимира Набокова», то Андрей Немзер, работающий вместе с нею на той же кафедре Высшей школы экономики, совсем наоборот, этого вашего Шишкина в грош не ставит. Если Глеб Морев видит в стихах Олеси Николаевой воплощенную посредственность, то это отнюдь не мешает Ирине Роднянской считать эти стихи выдающимся явлением русской поэзии.

Ну и так далее.

Мое слово против твоего слова. Вот и вся критическая реальность.

Естественно, что народ безмолвствует. И как ему (пусть не всему народу, а хотя бы читающему сословию) не безмолвствовать, если авторы самых ярких статей и рецензий говорят на собственном, не вдруг и понятном жаргоне, входят в тонкости, ничуть не интересные для ни в чем не повинного читателя, и – нарушая святой принцип Оккама – плодят и плодят мнения явно сверх необходимого. Искусство, словом, для искусства, и мне, как бы ни любил я сам игру в бисер, это не кажется правильным.

Как не кажется мне правильной и практика гламурных СМИ, стремящихся навязать читающему сословию отобранное (еще меньшее, чем у толстожурнальных критиков) число книжек и авторов – понятно, что не обязательно самых необходимых.

Я отнюдь не Дон-Кихот и знаю, что в одиночку перебороть господствующие сегодня тенденции – не в моих силах.

Хотя... Отчего бы и не попробовать?

Вот я и пробую, предлагая коллегам-критикам обмениваться не мнениями (или не только мнениями), но еще и (прежде всего) знаниями – о писателях, о книгах, о литературе, где, по моему глубокому убеждению, нет лишних, и старушка, на вдовью пенсию выпустившая сборничек своих стихов, тоже прадеду товарка в той же мастерской.

И двухтомник «Новая Россия: мир литературы» (М.: Вагриус, 2003), вобравший в себя сведения почти о 15 тысячах современных русских писателей, о десятках литературных ассоциаций, сотнях литературных премий, журналов и альманахов, и двухтомник «Русская литература сегодня» (М.: Время, 2007) – прежде всего предложение. И моя личная, чупрининская, версия русской словесности последнего двадцатилетия.

Не устраивает? – предложите свою. Или поспорьте со мною – но так, чтобы запустился переговорной процесс, и хотя бы мы, литературные работники, наконец-то услышали друг друга и смогли хотя бы друг с другом о чем-то договориться.

Вот почему я благодарен не столько тем, кто мои книжки похвалил, сколько тем, кто вступил со мною в предметную дискуссию.

Алле Латыниной («Новый мир», 2007, № 6), Самуилу Лурье («Звезда», 2007, № 6), Александру Мелихову («Октябрь», № 6), Борису Хазанову, чью развернутую рецензию вы только что прочли.

Именно эти блестящие, глубокие, аргументированные отклики (хоть были и другие, не менее умные и выразительные) я сближаю по двум причинам.

Во-первых, все они написаны с позиций художественного консерватизма (см. соответствующую статью в «Жизни по понятиям»), страстно разочарованного тем, как и куда движется современная нам литература.

Во-вторых, дав моим книжкам лестную оценку, и А. Латынина, и С. Лурье, и А. Мелихов, и Б. Хазанов тут же обнаруживают в их содержании, в их смысловом послыле кричащие противоречия.

И не ошибаются: моя литературная позиция (и тут см. соответствующую статью) действительно противоречива. И кричаще, и принципиально. То есть вполне намеренно.

Как читатель, как критик и, в особенности, как редактор литературного журнала я ведь, позвольте признаться, тоже консерватор, и мне тоже роднее то представление о литературе, с каким почти сорок лет назад я вышел в свой профессиональный путь, и мне тоже А. Проханова, И. Денежкину, И. Стогоффа хоть сахаром облепи...

Хочется плюнуть и выmaterиться.

Но я – по крайней мере, в рамках этого проекта – не буду ни плевать, ни материться.

Потому что мне кажется важным увидеть (и представить) родную литературу такой, какой она на моем веку стала.

Дело в том, уж простите, но литература мне дороже, чем мои собственные представления о ней.

Заканчивая свой сборник статей «Перемена участи» (М.: НЛО, 2003), я написал, что временами впадаю в бессильное отчаяние. Составляя «Большой путеводитель», готовя «Жизнь по понятиям», я временами тоже приходил в отчаяние: была вся кровь, а стала, мол...

Но другой литературы у нас сегодня нет. И, значит, должен же ее кто-то описать – пусть даже наступая на горло собственному вкусу. С точки зрения стороннего, но заинтересованного наблюдателя. Держась принципов ложного и, безусловно, насквозь фальшивого объективизма, но втайне надеясь, впрочем, на то, что интонация автора, то есть меня, вывезет, а читателя выведет на понимание того, как на самом деле я отношусь к тем или иным фигурам, явлениям, событиям литературной жизни.

Именно литературной жизни, а не собственно литературы, поэтому в моих книгах так мало сказано о (достойных и не достойных внимания) текстах и так подробно рассказано о премиях, союзах, журналах, тенденциях и понятиях – словом, о том, как и чем живут сегодня писатели, стремящиеся быть услышанными современными им читателями.

Для кого мои книги?

Монструозный, несуразно огромный двухтомник «Новая Россия: мир литературы», естественно, для специалистов. И для библиотек, для памяти, то есть для потомков – чтобы им было откуда узнать, какой жизнью жила русская литература на переломе двух тысячелетий.

А двухтомник «Русская литература сегодня» – для нынешних читателей. Пока обе книжки находились в моем компьютере, я в одном из интервью сострил, что пишу-де для медсестрички, которая хочет закадрить аспиранта-филолога и должна, следственно, где-то набраться премудрости, чтобы поддерживать с ним разговор на достойном уровне.

Увидев сначала в распечатке, а затем в верстке, что в каждой книжке более чем по шестьсот страниц, я ужаснулся и больше так не шучу. Столько прочесть, столько фамилий запомнить, столько терминов усвоить, чтобы всего-навсего прослыть человеком, хорошо разбирающимся в современной русской литературе, – бедная медсестричка, да есть ли ты на белом свете!

Впрочем...

Ведь жил же когда-то мальчик, который в поселковой библиотеке переписывал в общие тетрадки «Большую советскую энциклопедию», выбирая те статьи, что про литературу.

Не сомневаюсь, что и сейчас где-нибудь живет такой же мальчик.

Именно для него я пишу свои книги.

Ему хочу быть интересным. Ему понятным. И им понятным.